



Вера ПРОСКУРИНА

Рукописный журнал «Бульвар и Переулок»

(Вячеслав Иванов и его московские собеседники
в 1915 году)

Появление рукописного журнала «Бульвар и Переулок» тесно связано с культурно-исторической ситуацией первой военной зимы 1914/15 года. Начавшаяся война, с одной стороны, обнажила всю разность взглядов, всю глубину противоречий, имевших место внутри московской интеллектуальной элиты, вызвав и шумные публичные заседания, и темпераментные журнально-газетные схватки с другой стороны, ситуация слома, катастрофы как никогда усилила взаимное притяжение, привела в действие центростремительные силы, почти подсознательное желание объединиться перед лицом надвинувшейся опасности. Этот парадокс и нашел свое отражение в стихийно возникшем журнале, объединившем и укрывшем под сенью идеи Дома нескольких философов и литераторов, связанных узами дружеских, семейных отношений.

Война обозначила конец петербургского периода русской культуры. Само переименование города было воспринято в эсхатологическом плане. Этот конец почувствовала З. Гиппиус, определившая новую расстановку сил в своем стихотворении «Петроград» (написано 14 декабря 1914 года), «славянщина убогая» (то есть Москва) победила «прекрасно-страшный Петербург», и вся надежда теперь возлагается на знаменитый петербургский символ:

На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!

Москва в эти годы делается явным средоточием русского философского движения, притягивая к себе все новые и новые лица. Из Петербурга «бегут» — в Москве поселяются прочно, обосновываются семейно. Так произошло, например, с Н. А. Бер-

дьяевым, уехавшим в 1907 году из Петербурга сначала в деревню, потом в Париж (заграница здесь зачастую выступает как некое «чистилище») и наконец оказавшимся в Москве (с 1908 года). В Москве он обретает свой круг общения, с Москвы начинается «религиозный» этап жизни и творчества Н. А. Бердяева. Характерен и симптоматичен переезд в Москву в 1913 году Вяч. Иванова, в 1912 году он покидает Петербург и едет за границу, а оттуда (не без влияния жившего в Москве и близко сошедшего с Ивановым в Риме В. Ф. Эрн) — в Москву.

Семантика пространственного перемещения была очевидна: это и прощание с башенным «дионисийством», и сознательное погружение в сферу «любомудрия» Именно так осознал свой «исход» из Петербурга Н. А. Бердяев, бессменный председатель на ивановских «средах». Описывая свою дружбу с В. Ивановым, он все же счел необходимым добавить: «У меня нарастало глубокое разочарование в литературной среде и желание уйти из нее. Мне казался Петербург отравленным»¹. Нечто сходное было и в чувствах Иванова, покинувшего Петербург. Его дочь, Л. В. Иванова, проницательно угадала значение переезда в Москву: «Башенный период кончился. Наступила совершенно новая пора жизни. У меня было ощущение, точно рассеялась та туча и тот морок, которые висели над нами в Петербурге даже и в радостные минуты. Точно наступило утро»².

Как и для Бердяева, для Иванова приезд в Москву был одновременно и возвращением к старым друзьям. 26 января 1913 года М. О. Гершензон, дружеские отношения с которым у Иванова завязались еще с 1908 года, писал поэту: «Дня 4 как приехал в Москву Бердяев, все такой же молодой и славный; не стареет, не замыкается, не черствеет; я его очень люблю. Старые приятели все Вас с любовью помнят, и сходясь мы каждый раз вспоминаем Вас. Не забывайте же и Вы нас»³. Большинство будущих участников «Бульвара и Переулка» входило в более широкий круг — издательства «Путь», московского Религиозно-философского общества и т. д. Однако теперь, в канун войны, сложился особый, так сказать, интимный кружок философов и литераторов, спаянных не столько общностью взглядов, сколько личными, домашними связями. Так, например, показательное сообщение Гершензона (в письме к брату, А. О. Гершензону, от 13/26 января 1914 года): «А вчера вечером шумно спорили у нас до третьего часа Вяч. Иванов, Булгаков, Жуковский, Эрн, — крик стоял»⁴. Непременным членом дружеских посиделок и организатором собственных *jour fix*'ов был Н. А. Бердяев. К ним вскоре присоединился и давний знакомец всех, приехав-

ший из-за границы в октябре 1914 года Л. И. Шестов. Сюда, конечно же, необходимо добавить и сестер Герцык — поэтессу, переводчицу А. К. Герцык-Жуковскую, жену Д. Е. Жуковско-го, философа, участника сборника «Проблемы идеализма», а также Е. К. Герцык, переводчицу, автора критических статей и талантливых мемуаров. Постоянными участницами собраний были и жены — Вера Шварсалон, жена Вяч. Иванова, Л. Ю. Бердяева (обе — авторы «Бульвара и Переулка»), М. Б. Гольденвейзер, супруга М. О. Гершензона, писавшая талантливую прозу (см. ее рассказ «Призывы» в «Русской мысли» за 1917 год, кн. 3—4).

Печатным источником сведений об этом неофициальном обществе являются известные воспоминания Е. К. Герцык. Она пишет о том, что в кругу московских философов (она называет их «наш старый кружок») резко обозначилось «двойное отношение к событиям на войне и в самой России: одни старались оптимистически сгладить все выступавшие противоречия, другие сознательно обострили их, как бы торопя катастрофу». Первые, как выяснилось, «жительствоуют на широких бульварах», это «оптимисты» — Вяч. Иванов, Булгаков, Эрн. Другие же, «предсказывающие катастрофу, ловящие симптомы ее — Шестов, Бердяев, Гершензон — в кривых переулочках, где редок и шаг пешехода». Квартира сестер Герцык «символически объединяла Переулок и бульвар, вход с переулка, а от Новинского бульвара отделял всего только огороженный двор, и окна глядели туда»⁵. В этой же главе воспоминаний, символически названной «Кречетниковский Переулок (1915—1917)», Е. К. Герцык пишет: «Посмеялись. Поострили. Затеяли рукописный журнал “Бульвары и Переулки”. <...> Собрались через неделю читать написанное у нас»⁶. Она же указала на то, что был подготовлен первый номер, она же выразила надежду, что эти «листки» у кого-нибудь сохранились.

В воспоминаниях Герцык много неточностей, однако главное она запомнила. Центральная дефиниция — «бульварники» и «переулочники» — указана была точно. Действительно, общение этого содружества имело отчетливые пространственные рамки. Арбат и примыкающие к нему бульвары — вот тот новый культурный локус, в котором разворачивался сюжет московской жизни. Это прежде всего Зубовский бульвар, где проживали Ивановы, у которых в то время остановились В. Ф. Эрн с женой Е. Д. Векиловой и дочерью Ириной (дом 25). Здесь же по соседству обитали Булгаковы (Зубовский бульвар, дом 15). С другой стороны — Никольский Переулок (дом 13), место про-

живания семьи Гершензона («декадентский», как называет его Е. Герцык, особнячок Е. Н. Орловой), Новоконюшенный Переулок, где в доме № 14 снимали квартиру Шестов и его семья, Большой Власьевский Переулок (дом 14), где в 1915—1922 годах снимали квартиру Бердяевы. Впрочем, в начале 1915 года Бердяевы временно остановились у Жуковских-Герцык — в Кречетниковском переулке (дом 13), месте, промежуточном между бульварной и переулочной частью Арбата.

Арбатский локус с его антиномией бульвара и переулка послужил основой для создания московского топографического мифа. Результатом этого мифотворчества и стал домашний рукописный журнал «Бульвар и Переулок», замысел которого возник, судя по всему, зимой 1915 года. Материалы этого журнала — те самые «листки» — действительно сохранились в фонде М. О. Гершензона Российской государственной библиотеки. Здесь имеется и неопубликованная пояснительная записка жены Гершензона, М. Б. Гершензон (урожденной Гольденвейзер): «Зимой 1915/16 года в небольшом кругу московских писателей возникла мысль о шутиливом домашнем журнале. Первый номер этого журнала, названного “Бульвар и Переулок”, действительно был составлен и прочитан на одном *jour fix’e*. Каждый автор читал свое произведение»⁷. Здесь же имеется другой вариант того же сообщения: «В 1915 году писатели, жившие в районе Арбата и бульваров (Новинского, Смоленского, Пречистенского), затеяли шуточный рукописный журнал “Бульвар и Переулок”»⁸. Гершензон, признанный собиратель неопубликованного в истории русской культуры, отвел себе роль хранителя этого журнала. Автографы содержат следы его помет — везде проставлены имена авторов сочинений, проведена нумерация в каждой статье, добавлены некоторые примечания.

Среди материалов журнала имеется объявление о выходе «Бульвара и Переулка», написанное Ю. Балтрушайтисом, близким Иванову и его семье поэтом⁹. Выразительна двойная дефиниция издания: оно, с одной стороны, названо «критико-догматическим органом самообозрения», а с другой — «журналом для семейного чтения». Первая дефиниция целила в полемический характер журнала, становящегося ареной для взаимных шутиливых «разбирательств» и автопародий. Вторая — говорила об эзотеризме издания, о его духе «für Wenige», о его сугубо внутреннем пользовании. Здесь же указывались имена участников. Вяч. Иванов, Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн, М. Гершензон, С. Н. Булгаков, Л. Шестов, Жуковский; последним в списке упомянут сам Ю. К. Балтрушайтис. Среди текстов действительно имеют-

ся сочинения Иванова, Бердяева, Эрн, Гершензона; однако сочинений Булгакова, Шестова и Жуковского обнаружено не было — вероятно, они и не были написаны.

Семантика названия журнала — «Бульвар и Переулочок» — многозначна. С одной стороны, в названии отразилась реально-бытовая ситуация — в издании участвовали писатели и философы, жившие в переулках Арбата (Бердяев, Гершензон, Шестов) и на примыкавших к ним бульварах (Иванов, Эрн, Булгаков). С другой стороны, противостояние бульвара и переулка отражало полемическое противостояние позиций участников журнала, разность точек зрения в разгоревшейся на страницах периодически схватке.

Событием, которое послужило точкой отсчета «бульварно-переулочного» мифа, стал вечер в Политехническом музее, устроенный 6 октября 1914 года московским Религиозно-философским обществом. Помимо прочих, с докладами выступили С. Н. Булгаков — «Русские думы», Вяч. Иванов — «Вселенское дело» и В. Ф. Эрн — «От Канта к Крупцу». Последнее выступление сделалось сенсацией — размах обсуждения, шквал откликов в печати были отчасти сопоставимы с полемикой вокруг сборника «Вехи». Общая антигерманская направленность заседания в словесных эскападах темпераментного полемиста получила заостренно-парадоксальную форму. То, что Иванов именовал кризисом германской культуры («натяжение сил без их внутреннего высветления», желание «устроиться» при отсутствии высших ценностей¹⁰), у Эрн превращалось в единый — ложный — путь развития, заданный всем ходом германской цивилизации. Реформация, протестантизм, философия Канта оказывались виновниками современного милитаризма: произошло «убиение Сущего в воле» и «убиение Сущего в разуме», как назвал это Эрн¹¹. Для убежденного антикантианца Эрн, еще в 1910 году выступившего против журнала «Логос»¹², современная история представляла в виде арены битвы между Ratio (Запад) и Логосом (Россия), и здесь на помощь России мобилизовывался весь арсенал славянофильской риторики. «Время славянофильствует», — прокламировал Эрн в своей одноименной лекции на закрытом заседании Религиозно-философского общества 29 января 1915 года¹³.

Позиция Иванова была тоньше, сдержанней, содержала она и ряд существенных корректив по отношению к воззрениям В. Ф. Эрн. Осенью 1914 и в начале 1915 года в его лире зазвучали славянофильские ноты; обращаясь к России, он писал:

...И на вселенские весы
 Бросая подвиг достославный,
 Своей стыдишься ты красоты,
 Своей не веришь правде явной¹⁴.

Стихотворения, подобные этому («Недугующим»), дали повод Н. А. Бердяеву упрекнуть Иванова в письме от 30 января 1915 года: «Вы стали перекладывать в стихи прозу Эрна»¹⁵.

Однако славянофильство Иванова всегда побеждалось внутренним эстетизмом, и эта укорененность в толщах мировой культуры, это «очарование отраженных культур», по выражению Бердяева, оттеняли эрновскую публицистическую одноплановость. Особое качество ивановского славянофильства не могли не почувствовать критики. Характерно, что, ругая Эрна, ему неизменно противопоставляли Иванова. Так, критик Евг. Адамов в ненавистной Эрну газете «День», резко отозвавшись о «геллертерско-шовинистических изысканиях г. Эрна» (в связи с его докладом «От Канта к Круппу»), не без иронии, но и с нескрываемым восхищением написал об Иванове (по поводу его доклада «Вселенское дело»). «Бесподобна была речь Вяч. Иванова. Он весь в ней: тончайшим образом отточенное лезвие сарказма и пышное великолепие торжественного пафоса, грустный аромат ладана...»¹⁶ В той же газете, весьма важной для будущего «бульварно-переулочного» мифа, критик Петр Рысс в статье «От Владимира Соловьева к Владимиру Эрну» не без злорадства предлагал Эрну «учиться» у Вяч. Иванова¹⁷.

И во «Вселенском деле», и в «Славянской мировщине», и в «Живом предании», и в очень показательной статье «К идеологии еврейского вопроса» Иванов продемонстрировал, что обладание такой, как у него, культурной памятью может служить противоядием от националистического или шовинистического соблазна славянофильства. Для него «тело христианства» никогда не было равно одному лишь православию. Он внес существенную поправку и к воззрениям старого славянофильства, и к суждениям Эрна, говоря о России не как о «ретроспективной утопии», а как о «Руси умопостигаемой», высвобождающей свою «сокровенную реальность» «из плена опутавших ее чар» («Живое предание»)¹⁸. Россия Иванова — «мистическая личность», а не «эмпирический характер народа»¹⁹. Христианство для Иванова — это не один мир (православие), противостоящий всем другим. Христианство Иванова — это православие + католицизм, противостоящие как единое реформаторскому, протестантско-германскому миру. Это особенно ясно прозвучало в его статье «Шекспир и Сервантес», где «неостывшей» испанской

душе Сервантеса («плод испанской верности католической церкви») противопоставлялась фигура шекспировского Гамлета, «загадочного принца», «пришедшего... из протестантского университета Германии»!²⁰

К голосам Эрна и Иванова присоединился и голос С. Н. Булгакова (см.: Война и русское самосознание. М., 1915), однако его выступления не сыграли той провоцирующей роли, какова была роль Эрна и Иванова. Главным же в этом определившем расстановку сил в «Бульваре и Переулке» сюжетном треугольнике оказалось противостояние Иванова и Эрна, с одной стороны, и Н. А. Бердяева — с другой.

Н. А. Бердяев немедленно поднял перчатку, брошенную «неославянофилами». Сначала, в статье, посвященной В. В. Розанову и его книге «Война 1914 года и русское возрождение», он язвительно высмеял эту «женскую» готовность славянофилов склониться перед грубой военной силой («О “вечно-бабьем” в русской душе»); здесь он слегка задел всех троих — Иванова, Эрна, Булгакова, предупредив об опасности возрождения «слишком временного» и «старого» в славянофильстве, не служащего делу мира, а лишь разжигающего страсти и злобу²¹. Затем, в ожидании своего скорого приезда в Москву (январь он провел в харьковском имении — Люботине), он 30 января 1915 года пишет письмо Вяч. Иванову, выдержанное в характерном для него стиле энциклики: «Вы все хотели, чтобы я сказал Вам откровенно, что я мыслю о Вас. И вот я скажу Вам, хотя и недостаточно пространно. Думаю я прежде всего, что Вы изменили заветам свободолюбия Лидии Дмитриевны, ее мятежному духу. Ваш дионисизм, Ваш мистический анархизм, Ваши оккультные искания, все это, очень резкое, было связано с Лидией Дмитриевной, с ее прививкой...»²² Обвинение в измене «заветам» умершей жены Иванова — Л. Д. Зиновьевой-Аннибал — было жестоким, однако Бердяев здесь, в частном письме, продолжал развивать ту же мысль о «женском» начале славянофильства, уже апробированную на Розанове: «О Вас я очень сильно чувствую вот что: тайна Вашей творческой природы в том, что Вы можете раскрываться и творить лишь через Женщину <...> Вы слишком любите легкое, отрадное, условное, в Вашей природе есть оппортунизм <...> У Вас нет религиозного дара свободы <...> И в Вашей природе есть робость, которая лишь внешне прикрывается дерзновением. Вы всегда нуждаетесь во внешней санкции. Сейчас Вам необходима санкция Эрна или Флоренского. <...> В православии Вы ищете теперь легкой и приятной жизни, отдыха, возможности все при-

нять. И это усталость в Вас, духовное истощение от ложных опытов дерзання. <...> Я не люблю в Вас религиозного мыслителя. <...> В Вас слишком много было всегда игры. Вы необычайно даровиты в игре. И сейчас Вы очень привлекаете и соблазните в минуты игры. Но думается мне, что Вы никогда не пережили чего-то существенного, коренного в христианстве. Я чувствую Вас безнадежным язычником, язычником в самом православии Вашем. И как прекрасно было бы, если бы Вы оставались язычником, не надевали на себя православного мундира. <...> Вашей природе чужда Христова трагедия, мистерия личности, и Вы всегда хотели переделать ее на языческий лад, видели в ней лишь трансформацию эллинского дионисизма. <...> Вы совсем не могли бы жить и религией Христа. <...> Но культ Богоматери очень Вам подходит, сердечно нужен Вам для жизни, для мистических млений. И свое языческое чувство жизни Вы теперь прилаживаете к церкви, как к женственности и земле»²³. Резко противопоставив себя Иванову, Бердяев заключал: «Я — “еретик”, но в тысячу раз больше христианин, чем Вы — “ортодокс”. <...> Я объявляю себя решительным врагом Ваших нынешних платформ и лозунгов. Я не верю в глубину и значительность Вашего “православия”»²⁴.

Полемический запал Бердяева оттеняется финалом письма — с предвкушением скорых дружеских встреч, «поцелуями» и пр.! Само это письмо Бердяева Вяч. Иванову — свидетельство как серьезных расхождений двух мыслителей, так и глубокой внутренней общности, основанной на единстве культурного кода, с помощью которого и велся диалог.

Между тем полемика разгоралась. Ареною ее стала газета «Биржевые ведомости», где 30 января 1915 года была опубликована статья В. Ф. Эрн «Налет валькирий» — ответ на помещенную ранее здесь же статью Бердяева о Розанове. Работа Эрн строилась под девизом: «Н. А. Бердяев мне друг», но «истина» дорож! Защищая себя (а заодно Иванова с Булгаковым) от обвинений в «женственности» «русской души», якобы культивируемой славянофилами, Эрн использует все средства — от откровенной издевки над «мужественной душой» Бердяева до патетических заклинаний: «В то время как русская душа в титанической борьбе с колоссальными армиями трех государств являет один за другим величайшие подвиги беззаветного мужества...»²⁵

Бердяев не оставил Эрн без ответа: 18 февраля 1915 года на страницах «Биржевых ведомостей» появляется его отповедь «Эпигонам славянофильства». Парируя обвинения Эрн и отде-

лив позицию Иванова от остальных «неославянофилов» («Должен оговориться, что В. Иванов как поэт и теоретик искусства стоит выше всего этого, вне всех этих направлений»²⁶), Бердяев продолжает настаивать на опасности возрождения старого противостояния славянофильства и западничества, видя в их реставрации «национальную незрелость»²⁷. Полемизирует он и с Булгаковым, усматривая в его «теократии белого царя» «путь религиозного сервизизма»²⁸. Бердяев в эти месяцы как никогда темпераментен — одна за другой летят в печать пылкие филиппики в адрес «неославянофилов» — в ответ на статью Иванова «Живое предание» (18 марта 1915 года) полетит гневная работа Бердяева — «Омертвевшее предание» (8 апреля 1915 года)...

Другие участники кружка, например Гершензон и Шестов, в разгоревшейся полемике были на стороне Бердяева. Так, Гершензон печатно выступил против Эрна, хотя и отметил ряд «странных соответствий» между «материализмом» немецких властей и современной немецкой философией²⁹. 7 февраля Гершензон писал брату, А. О. Гершензону: «Не я один: вижу, так же томится Шестов, да и другие. Война поглотила все мысли и желания. Ходят друг к другу без дела, сидят подолгу, хотя о войне редко говорится. Шумят только кое-кто из славянофильствующих философов, напр<имер> Эрн, затеяли газетную полемику вульгарного тона и тем оживляют себе существование»³⁰.

В начале февраля 1915 года в Москву приезжает Бердяев с женою и останавливается в доме Жуковских-Герцык в Кречетниковском переулке. Близость всех троих в этот момент — Бердяева, Шестова, Гершензона — очевидна. Их частые визиты друг к другу фиксирует в своих письмах-дневниках Гершензон. Так, например, 15 февраля 1915 года он записывает: «Вчера вечером у нас были Бердяевы и Шестов, сидели до 1¹/₂ ч. ночи»³¹.

Позиция Шестова была вполне очевидной, хотя прямого участия в этой полемике он не принимал. Однако характерен его рассказ о сильном впечатлении, которое на него произвела редкостная схожесть русской и немецкой печати в это время: «Начало войны застало меня в Берлине, я возвращался из Швейцарии в Россию. Пришлось ехать кружным путем, через всю Скандинавию до Торнео и потом через Финляндию в Петербург. В Германии, конечно, я читал только немецкие газеты. И до самого Петербурга я, собственно, принужден был питаться немецкими газетами, так как не знаю ни одного из скандинавских наречий. И только когда стал приближаться к России, мне

попались русские газеты. И каково было мое удивление, когда я увидел, что слово в слово русские газеты повторяют то, что писали немцы. Только, конечно, меняют имена. Немцы бранили русских, упрекали их в жестокости, своекорыстии, тупости и т. д. Русские то же говорили о немцах. Меня это поразило неслыханно, и я вдруг вспомнил библейское повествование о смешении языков³². Война подтвердила самые скептические предчувствия мыслителя — он увидел крушение «гигантской башни европейской культуры», общий, и России в том числе, кризис. Его нежелание видеть «особость» России и ее «вселенское дело» дало основание для полемической клички, которую он получил в «бульварно-переулочном» кружке, «беспочвенник» (с новым наполнением иронически переосмысленного названия его старой книги «Апофеоз беспочвенности»).

Итак, в начале 1915 года оформился круг участников домашнего журнала «Бульвар и Переулок», а внутри его — две антагонистические «партии». Причины складывания этой «неформальной общности», этой домашней академии (наподобие общности итальянских гуманистов с их «академиями»³³) пыталась проанализировать Е. К. Герцык: «Но что же объединяло таких несхожих мыслителей, как Вяч. Иванов и Гершензон, Шестов и Бердяев? Это не группа идейных союзников, как были в прошлом, например, кружки славянофилов и западников. И все же связывала их не причуда личного вкуса, а что-то более глубокое. Не то ли, что в каждом из них таилась взрывчатая сила, направленная против умственных предрассудков и ценностей старого мира, против иллюзий и либерализма, но вместе с тем и против декадентской мишуры, многим тогда казавшейся последним словом?»³⁴ Только большой запас прочности, основанный на не объявленном, но ясно ощущавшемся всеми участниками кружка единстве культурного языка, позволил осуществиться столь экстравагантному предприятию, как «Бульвар и Переулок», затеянному в самый разгар полемики начала 1915 года.

Бульварно-переулочный миф нашел свое воплощение в рисунке Е. С. Крутиковой, предназначавшемся для обложки журнала: под сенью дерева, на углу дома, от которого лучами разбегаются в противоположные стороны бульвар и Переулок, встречаются Кот и Собака. Изящный рисунок тушью и карандашом отразил всю полноту символики названия журнала. Прежде всего, урбанистический пейзаж с изображенными бульваром и переулком закреплял то, что сами участники хотели де-

монстрировать: провозглашалось создание некоего литературного «урочища» с четкой арбатской локализацией. Во-вторых, противостояние Кота и Собаки должно было символизировать противостояние внутри кружка. С одной стороны, это общее, «родовое», обозначение «бульварников» и «переулочников», с другой — это обозначение двух конкретных представителей тех двух полюсов полемики, о которой шла речь выше.

Кот — всегдашний символ Вяч. Иванова. «Кот был тотемом нашей семьи», — писала Л. В. Иванова, рассказывая о домашних творческих «предприятиях» Ивановых. В их числе — содружество с девизом «Лапа об лапу» и гербом, где, помимо прочего, два кота подавали друг другу лапу³⁶. Сама Л. В. Иванова в письмах к родным часто подписывалась «Курлыков»³⁷. В шуточной домашней газете «Пуля Времени» (изготавливаемой уже позднее, в 1926 году, в Италии) Л. В. Иванова помещала портреты Иванова с собственной подписью «Курлыков», а одно из «стихотворений» в той же газете (будто бы взятое из переводов Ивановым Алкея) звучало таким образом:

«— Брысь...»³⁸.

Вообще, стихия шуточной игры, имен-тотемов, взаимного пародирования, характерная для дома Ивановых, во многом повлияла и на атмосферу «Бульвара и Переулка».

Собака — не менее очевидный и легко узнаваемый символ Н. А. Бердяева. Известно, что Бердяев нежно любил своих собак³⁹ и в самом себе находил нечто «собачье», например, «исключительную чувствительность к миру запахов»: в «Самопознании» он писал: «Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов»⁴⁰. Сходство самого внешнего облика философа с собакой обострялось во время болезненных тиков. А Белый выразительно описывал эту ситуацию: «...не удержавшись, с головою бросался он (Бердяев. — В. П.) в разговорные пропасти; разрывался тогда его красный рот (он страдал нервным тиком); блистали в отверстии рта, на мгновение ставшего пастью, кусаясь, зубы его... сжимал истерически пальцы под разорвавшимся ртом; чтобы спрятать язык, припадал всей кудлатою головою к горошиком задрожавшим пальцам...»⁴¹ Агрессивно-наступательный характер Бердяева в сочетании с этими внешними особенностями его облика послужил «материалом» для полемического «имени» — Собака, — неоднократно обыгрываемого в текстах «Бульвара и Переулка»: так, в частности, в статье Эрна «Бульварная Пресса и Переулочные Точки Зрения» местом обитания Бердяева названа «Собачья Площадка» (в действительности Бердяев там не жил).

Наконец, древо в центре картинке Крутиковой — это своего рода *Arbor Mundi*. Ясно, что всему изображенному придавался универсально-космический характер. Кот и Собака — это пародийное переосмысление известного противостояния позиций; в бульварно-переулочных текстах происходила перекодировка «серьезных» вопросов в иронический и намеренно сниженный план. Тем самым как бы снижался накал полемического противостояния, растворявшегося в домашних, шутливых терминах кружкового метаязыка.

Известный мастер портретных силуэтов, Е. С. Крутикова и здесь, на обложке «Бульвара и Переулка», воспроизвела силуэты символов — Бердяева и Иванова. Хорошая осведомленность в ситуации кружка объясняется ее довольно тесными связями со всеми участниками домашнего журнала⁴².

Хроника событий, связанных с возникновением журнала, может быть восстановлена с достаточной долей вероятности. Н. А. Бердяев, приехавший с супругой Л. Ю. Бердяевой в Москву в первых числах февраля 1915 года, останавливается у сестер Герцык, предполагая пробыть там несколько недель. Однако в середине февраля, на улице, он падает и ломает ногу — результатом чего стало то, что Бердяевы застревают в Москве на два месяца. Е. К. Герцык вспоминала: «В один из первых дней Николай Александрович, возвращаясь с какого-то собрания, поскользнулся и сломал ногу. Когда его вносили в дом, он доспаривал с сопровождавшим его знакомым на какую-то философскую тему. Потом два месяца лежания, нога во льду, в лубках, сращение перелома затянулось. Друзья и просто знакомые навещают его. Телефонные звонки, уходы, приходы, все обостряющиеся споры между ним и Булгаковым, Вяч. Ивановым, которых захватил шовинистический угар»⁴³. Вот тогда-то, скорее всего, и намечаются контуры «Бульвара и Переулка» с «нейтральной» зоной в доме сестер Герцык, объединивших противостоящие стороны. Тогда и сочиняется объявление о выходе журнала со списком участников: характерно, что отнюдь не все лица, перечисленные Балтрушайтисом, оказались реальными авторами журнала. Первоначальная схема потом несколько видоизменилась. Косвенные данные могут служить подтверждением того, что это объявление относится к числу первых сочинений «Бульвара и Переулка». Балтрушайтис упоминает «сорный ящик», служащий заменой «почтового». Однако в статье В. Ф. Эрнэ «Бульварная Пресса и Переулочные Точки Зрения» уже вовсю функционирует этот «сорный ящик», из кото-

рого им извлекается заключительная шарада. Статья же Эрна датируется в связи с упоминанием конкретной даты: на Столбе помещено «новое московское издание» от 16 февраля 1915 года! Видимо, сочинение Эрна относится к одному из ближайших дней после этого числа. Поскольку там же идет речь и об обложке журнала «Бульвар и Переулок» (об изображенном там Коте), можно с уверенностью сказать, что и рисунок Кругликовой к середине февраля 1915 года был уже сделан.

Вероятно, что и стихотворение Вяч. Иванова «Бедный викинг» было написано в числе первых «бульварно-переулочных» сочинений: в нем отразилось «свежее» восприятие полемики вокруг доклада Эрна «От Канта к Крупцу». Скорее всего к февралю-марту 1915 года можно отнести и сочинение М. О. Гершензона «Теория словесности», построенное на обыгрывании уже сложившейся оппозиции Бердяев — Иванов. Во всяком случае, оно было написано до отъезда Бердяева (апрель 1915 года), поскольку сама стилистика статьи свидетельствует о ее ориентации на произнесение (см. такие ораторские приемы, как апелляция к явно слушающим текст Булгакову и Шестову). С другой стороны, трудно предположить, что Гершензон зачитывал этот текст в отсутствие его главного персонажа — Бердяева, которому были адресованы достаточно иронические сентенции автора.

Рассказ В. Шварсалон «Самсон и Далила» был написан в марте 1915 года: в нем запечатлелся рассказ о том, как «в первых числах марта» «человек на костылях» вышел из дома № 13, т. е. речь идет о выздоровлении и одном из первых выходов из дома Н. А. Бердяева.

Статья самого Н. А. Бердяева «Бульвар и Переулок (Размышление о природе слов)» имеет точную дату — «Лета 1915, апреля 27 дня». Она и по внутренней установке является завершающей, подводящей итоги и вскрывающей некую философию сложившейся оппозиции «бульвара» и «переулка». Сочинения Л. Ю. Бердяевой написаны тоже уже не в Москве, а в Люботине; сохранилось ее письмо, адресованное М. О. Гершензону и датированное, как и статья Бердяева, 27 апреля 1915 года: «Пошлю Вам, дорогой Михаил Осипович, мои “труды” для “Бульвара и переулка”...»⁴⁴. Таким образом, хроника создания журнала несколько корректирует и воспоминания Е. Герцык, и мемуарную запись М. Б. Гершензон: история «Бульвара и Переулка», растянутая в пространстве и во времени, не являлась продуктом одного *jour flx'a*; скорее, это был достаточно протяженный этап, общий для всех участников журнала и оказавший заметное влияние на творческий путь большинства из них.

Одним из первых, как выше было отмечено, появилось стихотворение Вяч. Иванова «Бедный викинг». Стихотворение это не было опубликовано и прошло почти незамеченным в истории культуры начала XX века. В своих воспоминаниях Л. В. Иванова по памяти приводит из него одно четверостишие, замечая, что в стихотворении Иванов «в шутку» «применил» к В. Эрну поэму А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...»⁴⁵.

Выбор источника для пародического использования был не случаен. «Бедный рыцарь» Пушкина — одно из наиболее актуализированных в сознании мыслителей начала XX века сочинений поэта. О нем в эти годы размышлял С. Н. Булгаков, давший анализ двух вариантов «Бедного рыцаря» в статье «Вл. Соловьев и Анна Шмидт»⁴⁶. Для Вяч. Иванова это стихотворение Пушкина было ключевым: о нем он писал в статье «Шекспир и Сервантес», и в работе «Достоевский. Трагедия — Миф — Мистика», и в статье «Два маяка»⁴⁷.

Надо сказать, сама личность В. Эрна каким-то образом коррелировала с пушкинским героем. Благодаря религиозной одержимости и полемическому темпераменту, Эрн воспринимался современниками с удивительным стилистическим однообразием. «Воинствующий рыцарь веры и убеждений» — формула Аскольдова из его некрологической статьи здесь наиболее репрезентативна⁴⁸. Любопытно, что самая внешность Эрна вызывала «рыцарские» ассоциации. Так, например, в воспоминаниях Е. Я. Архипова, друга Эрна, глава, посвященная философу, носит заглавие «Крест и лилия». Мемуарист пишет: «Вглядываясь в скандинавски-светлые черты его лица, уже тогда можно было различить два определивших его облик начала: светлая суровость рыцаря-крестоносца и сила тонкого духовного благоухания, идущего от лилий его чистого сердца»⁴⁹. Этот же рыцарский ореол был закреплен за Эрном и в кружке московских философов. Об этом писал, в частности, в своей бульварно-переулочной статье и Бердяев, намекая на скандинавское происхождение Эрна: «Вспомни, сколь бесстрашно выступили вы в защиту матери-земли <...> обнаружив при сем истинно рыцарскую отвагу, происхождения явно не русского».

Легкий сдвиг в названии стихотворения — «Бедный викинг» вместо «Бедного рыцаря» — переключал стихотворение в сферу комического. Однако ни пародически использованный текст Пушкина, ни сама фигура Эрна не подвергались комическому снижению. Иванов и не собирался осмеивать своего ближайшего друга, столь значимого для него. Известно, как оценивал Иванов роль Эрна в собственной жизни: «...больше, чем Влади-

мир Соловьев, на меня влиял Владимир Эрн»⁵⁰. Влияние Эрна на Иванова не прошло незамеченным: вспомним упреки Бердяева Иванову в том, что тот живет теперь «под санкцией Эрна»⁵¹. Напротив того, жизнь и духовная биография Эрна, зашифрованная в строках стихотворения, берутся под защиту, а осмеянию подвергаются враги Эрна.

Некоторые детали контекста позволяют точно расшифровать этот эзотерический текст, рассчитанный на узкий круг домашних друзей, без труда понимающих, о чем идет речь.

Приват-доцентская судьба Эрна взрывается неким «умозрением» — о нем говорится в первых строфах стихотворения. Иванов имеет в виду концепцию Логоса, страстным адептом коей и был Эрн, «положивший» много лет на «борьбу за Логос». Появление в 1910 году на горизонте отечественной философии нового альманаха «Логос», ориентированного на германскую традицию, вызвало бурный протест Эрна, усмотревшего кощунство в использовании некоторых столь близких ему символов⁵². Само название альманаха — Логос — казалось Эрну невозможным, оно связывалось с восточной, православной традицией. Вся теория Логоса в понимании Эрна противоречила западной, в первую очередь, германской школе философии. В 1910 году Эрн выступил с резкой статьей против германфильского «Логоса» — «Нечто о Логосе, русской философии и научности (По поводу нового философского журнала “Логос”»)⁵³. Именно отсюда, от борьбы с «кантианами» (неокантианцами «Логоса»), ведет Иванов начало духовной биографии Эрна.

В стихотворении есть и прямые реминисценции из этой антикантианской статьи Эрна. Иванов упоминает «пески гносеологии», заключая в эту фразу двойную отсылку. Во-первых, к выразительнейшему пассажиру из вышеупомянутой статьи против «Логоса». В самом ее начале Эрн писал. «Логос так Логос, — не все ли равно? Что касается до меня, то если бы мне насыпали между зубов целую горсть песку и заставили его жевать, то эту операцию я бы перенес с большим спокойствием, чем священное имя Логос на обложке нового альманаха»⁵⁴.

«Кегельбан», вроде бы неожиданно появившийся в следующей строфе, являл собой также изысканную реминисценцию:

И в песках гносеологии,
Где, устроив кегельбан,
Метил шаром Метод строгий
В «данности» фата-морган...

Взята она была Ивановым уже из арсенала противников Эрнэ. Представители «Логоса» объявляли себя последователями «строго научной» философии («Метод строгий» у Иванова!). Выступление Эрнэ с критикой сильно задело «кантиан». Практически без очередного выпада против Эрнэ не выходило ни одного тома «Логоса». Одним из обвинений в его адрес было утверждение, что он сражается не с реальными мыслителями «Логоса», а с фантазиями, не имеющими к ним никакого отношения. Так, в рецензии на книгу Эрнэ «Борьба за Логос» Б. Яковенко, упрекая автора в недобросовестности его инсинуаций, писал: «Своих противников создает себе он (Эрнэ. — В. П.) сам: это все какие-то манекены. А борьба с ними производит впечатление игры в кегли, сам он сделал их, сам расставил и сам же расстреливает, “надсаживая грудь”»⁵⁵.

Слова о «“данности” фата-моргана» — с взятым в кавычки термином «данность» — тоже отсылают к статье Эрнэ «Нечто о Логосе, русской философии и научности». Протестуя против оксюморонного, с его точки зрения, выражения «научная философия», Эрнэ писал: «Можно очень разно понимать как науку, так и философию, но данность их как объектов не подлежит сомнению. Нас поражает соединение этих двух понятий, и мы утверждаем, что нет реального объекта, соответствующего этому сложному, искусственно составленному понятию...»⁵⁶ Таким образом, «данность» объекта изучения представителей «Логоса» оказывается иллюзией, или «фата-морганой», как метафорически выразил это Вяч. Иванов.

Строки стихотворения об Эресе и Сквороде, запомнившиеся Л. В. Ивановой, отсылали к вышедшей в 1912 году в издательстве «Путь» монографии Эрнэ «Григорий Саввич Скворода. Жизнь и учение», — к той ее главе, где излагалось учение Сквороды об Эресе в связи с его книгой «Наркисс». В жизненном пути и учении Сквороды Эрнэ обнаруживал зарождение философии истинного логизма, заключавшейся в постепенном восхождении, в постоянном «напряжении воли» и «устремленности к Истине». Иванов буквально в деталях передал один фрагмент из эрновского описания философии Сквороды: «Но такова была устремленность этого великого чудака к Истине, так высоко он взбирался в своих постижениях, что издали ему рисовалась неясными контурами небесная мудрость святых...»⁵⁷ Интерес Эрнэ к Сквороде был обусловлен и его своеобразной переработкой учения Платона об Эресе. «И влюбленность Платона, — писал Эрнэ, — превращается у Сквороды в самовлюбленность, и мудрый, которого посетил Эрос, становится блаженным

самолюбцем, Наркиссом»⁵⁸. Таким блаженным самолюбцем, по Эрну, и был Скворода.

Таинственные буквы на щите викинга — А. У. — вводят уже новую грань творческих исканий В. Эрна. Ближайшие друзья знали, что Эрн напряженно работает над книгой об Афродите Урании (отсюда А. У.) — над замыслом, лишь отчасти реализовавшимся в его статье «Верховное постижение Платона»⁵⁹. С. Н. Булгаков назвал свой некрологический очерк об Эрне «Афродите-Деметре. Памяти В. Ф. Эрна», где рассказал, что «самой интимной мечтою» философа «была книга об Афродите Небесной, лике Вечной Женственности, открывшемся эллинству»⁶⁰. В кругу Иванова этот замысел был предметом постоянных бесед, о чем, в частности, свидетельствуют письма Эрна Иванову; так, например, в письме от 8 июля 1914 года Эрн с иронией пишет: «Анапа — прескверный городишко с очаровательным морем, очень способствующим размышлениям об Афродите Урании...»⁶¹

Неудивительно, что наиболее адекватное толкование букв А. У. принадлежит, как явствует из комментария к стихотворению, некоему р. Firenze. Firenze — это Флоренция. А «первый астроплатоник и иеро-софист нашего времени» — это отец (padre — р.) П. Флоренский, мастер изощренных толкований, тонкий знаток и ценитель Платона⁶².

Два следующих «толкования» актуализируют два пласта культурно-философской полемики, участником которой был Эрн. Упоминание редакции «Логоса», якобы интерпретирующей буквы А. У. как нетерминологическое «междометие», — ироническая отсылка к известной полемике Эрна с «кантианами». Имя же профессора Кизеветтера и латинская транскрипция все того же доклада «От Канта к Круппу» вновь переносят сюжет к событиям последних месяцев 1914 года и начала 1915-го: А. А. Кизеветтер в статье «Россия и Европа» выступил против «славянофильствующих сирен», задев Эрна и его нашу-мевший доклад⁶³.

Таковы были детали культурно-исторического контекста, послужившего основой для стихотворения Вяч. Иванова. Однако вся ситуация полемики в преломлении домашнего журнала иронически остраивается: стихотворение «Бедный викинг» объявляется Ивановым «не подлинным историческим документом», а одним из «ядовитых порождений» литературы «памфлетов». Иванов укрылся здесь за двойной маской. Само стихотворение «сообщила Фрина» — знаменитая «гетера», прославленная, по преданию, Апеллесом, изобразившим ее в виде Афродиты, вы-

ходящей из моря (для храма Асклепия в Колосе). Комментарий же к самому стихотворению представил «поверенный в делах Фрины». Но цепь опосредований, «белкинская» игра с отсылкой к одухотворенной античности на этом не заканчивались.

Гетера Фрина — это анаграмма, заключающая имя персонажа, которому и было посвящено само стихотворение: Эрн. Великолепный знаток греческой анаграмматической поэзии, один из первых поэтов, активно использовавших этот прием, Иванов таким образом внес заключительный штрих в создание шутливой апологии Эрна.

Своеобразным дополнением к стихотворению Иванова служило сочинение самого В. Ф. Эрна «Бульварная Пресса и Переулочные Точки Зрения». Здесь была развернута своего рода «картина мира», описанная с позиции «бульварочника». Эрн прочерчивал и явную, по его мнению, традицию, к которой возводился сам замысел журнала «Бульвар и Переулок»: «С Башни я спустился на Бульвар...» Друзья-«переулочники» объявлялись им представителями «совсем другой Породы» (развитие оппозиции Кота и Собаки!). Вся «переулочная» тема в его сочинении проходит под знаком агрессивного и «угрожающего» индивидуализма — сплошных Точек Зрения, «дерзаний». Последний термин адресовался Бердяеву, постоянно упрекавшему Иванова в отсутствии в его мироощущении прежней дионисийской «дерзости», а также и Л. Шестову, вся философия которого была разоблачением «покорностей» и защитой «дерзновенных» (см. цикл его афоризмов «Дерзновения и покорности»⁶⁴).

Однако не только полемика с «переулочниками» была зашифрована в тексте статьи Эрна. В качестве персонажей пародийных «объявлений» выступали все его литературно-философские оппоненты. В первую очередь — в первом «объявлении» — фигурируют противники Эрна в «германской» теме. «Дживелеговский пер<еулок>» — указывает на А. К. Дживелегова, историка, литературоведа, театроведа. В контексте того времени, однако, важны оказались другие его заслуги. Дживелегов — крупнейший знаток Германии, автор двухтомной «Истории современной Германии», вышедшей в 1908—1910 годах. В 1915 году он выпустил брошюру «Немецкая культура и война» (в серии «Война и Культура»), где — в противовес эрновским слишком прямым схемам (от Канта к Круппу) — дал детальный, построенный на конкретных фактах анализ политической, исторической, культурно-философской ситуации в Германии последнего столетия. Он указал на реальные причины и предпосылки тоталитаризма.

литарной и милитаризованной идеологии, приведшей к войне. Либерально-кадетский взгляд на столь «огненные» для Эрна вопросы, пафос объяснения, а не проклятия в адрес Германии, — все это было чуждым и враждебным, с точки зрения Эрна.

Другой антагонист — Е. Адамов, постоянно выступавший на страницах петроградской газеты «День» с разоблачением «грехов национализма» в серии статей «Московские письма»⁶⁵. Это — откровенный враг В. Ф. Эрна, не скупившийся на брань и издевки в его адрес. Именно поэтому в «седьмом объявлении» появляется упоминание газеты «День» с пометой «Тут же: Первый русский словарь ругательств». Эрн был просто «мальчиком для битья» в этой газете, его обвиняли и в «шовинизме» (все тот же Евг. Адамов⁶⁶), и в «научно-детской надменности» в сочетании с неумением «осилить» Канта (статья Петра Рысса «От Владимира Соловьева к Владимиру Эрну»⁶⁷).

В эту же группу «врагов» попадает и «Александр Александрович Донерветтер»: речь идет об А. А. Кизеветтере. Пародийная кличка (от немецкого ругательства «Donnerwetter!» — «черт возьми!») историка и публициста, члена ЦК кадетской партии связана с его выступлениями против Эрна на страницах «Русских ведомостей». В статье «Россия и Европа» (8 января 1915 года) он обрушился на Эрна: «Мы боремся не с Европой, а с Германией, мы боремся не с Германией Канта, а с Германией Круппа (теперь находятся шутники, утверждающие с высоты философских кафедр, что Кант и Крупп — родные братья по духу...)»⁶⁸. Затем, позднее, в статье «Литературные отголоски войны. Мечты о Царьграде» (15 февраля 1915 года), он снова разразился филиппикой против «книжной абстрактно-мистической идеологии и фразеологии», неизбежно приводящей к «глухому тупику» и «византийщине»⁶⁹. Адресат обличений, Эрн, не желая отвечать в печати «шестидесятнику» Кизеветтеру, «засидевшемуся гимназисту», по его едкой формулировке (см. «Налет валькирий»), дал пародическую отповедь противнику в своей «бульварно-переулочной» статье. В «седьмом объявлении» наряду с газетой «День» речь идет и о газете «Русские ведомости», редакция которой находилась в Чернышевском переулке. Обе ненавистные Эрну газеты — «День» и «Русские ведомости» (где помимо Кизеветтера против философа выступали и другие авторы⁷⁰) объединены общим титулом — «Краткое руководство для составления либеральных доносов».

Все «объявление второе» — с выразительным адресом «1-й Ильинский пер<еулок>», с «д<омом> Фрейда» и указанием

«спросить Ивана Александровича» — отсылает к еще одному оппоненту Эрн и «ненавистнику» всего арбатского кружка писателей и философов И. А. Ильину. Философ И. А. Ильин, всю жизнь занимавшийся немецкой философией, Гегелем, сам «неогегельянец», страдал нервным расстройством, психозом, от которого лечился в Вене у знаменитого психоаналитика. Е. К. Герцык, рассказывая о контактах Ильина с кругом ее философских друзей, писала о странных припадках ненависти, которую изливал Ильин на ту или иную жертву; она же сообщала: «Знакомство с Фрейдом было для него (Ильина. — В. П.) откровением: он поехал в Вену, провел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-то улучшилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов»⁷¹.

Фраза этого же объявления «Только устно!» адресует к ситуации также вполне угадываемой: 29 января 1915 года В. Ф. Эрн прочел свою первую лекцию цикла «Время славянофильствует» на закрытом заседании Московского Религиозно-философского общества, где Ильин выступил против докладчика с яростной критикой. К нему же, судя по всему, относится и «объявление четвертое»; на это, в частности, указывает (помимо общей атрибутики — «немецкая улица», «исконно-русский тупик») фраза: «Обезвреженные (по известному методу “денационализации”) вытяжки из Канта и Гегеля». В 1915 году Ильин выпустил брошюру «Духовный смысл войны» (в ней, вероятно, отразился общий пафос его устного антиэрновского выступления), где соединились патриотическое морализаторство, бесконечные цитаты из Гегеля и предложение селекции германской культуры: «...выбрать из немецкой культуры то, что в ней общечеловечно, глубоко или просто здорово...»⁷²

«Героем» «пятого объявления» стал Н. А. Бердяев. Описывая его «вегетарианскую столовую», Эрн комически сопрягает творчество и быт. Так, в меню «духовного стола» входят «душа России всмятку» (прямая отсылка к названию известной брошюры Бердяева «Душа России», выпущенной в серии «Война и культура» в начале 1915 года), а также «салат из антиномий» (излюбленный прием построения ряда сочинений философа и в особенности актуальный для вышеупомянутой брошюры). Адрес «столовой» — «Собачья Площадка, что у Николы-на-Ямах» — был понятен только узкому кругу ближайших друзей Бердяева. Выше уже было сказано о кружковом топосе, запечатленном наименованием «Собачья площадка». Вторая часть адреса — «Никола-на-Ямах» — отсылает к ряду эпизодов биографии философа.

Прежде всего Эрн намекает на посещения Бердяевым трактира «Яма», где тот, как известно, встречался с народными мыслителями⁷³. Но не только это. Не случайно «Ямы» упомянуты во множественном числе. Здесь Эрн имел в виду и пресловутое падение Бердяева — событие, ставшее одной из главных «мифологем» «бульварно-переулочного» творчества. К Бердяеву, конечно, относится и фраза из «объявления шестого»: «ортопедируем хромые доказательства».

Само же «объявление шестое» — собирательный образ «переулочников». Помимо Бердяева, здесь можно обнаружить и зашифрованного посредством фразы «помогаем выходить из калош» М. О. Гершензона. Речь идет о дружеской помощи Гершензона А. Белому, оказавшемуся в тяжелом моральном положении после публикации статьи «Штемпелеванная калоша» (Весы. 1907. № 5), злобно нападавшей на идеи мистического анархизма, исповедуемые петербургскими символистами — и Ивановым в том числе. В то время к практически подвергнутому общественному ostrакизму писателю обратился Гершензон с предложением участвовать в журнале «Критическое обозрение» и писать рецензии в духе «Штемпелеванной калоши»⁷⁴.

Стрелы метились здесь и в Л. Шестова: «безболезненно извлекаем оставшиеся корешки и осколки». Шестов фигурировал в сочинениях журнала как человек «без корней», без «почвы». Не случайно в списке «врачей» у Л. Ю. Бердяевой также обыгрывалась эта же метафора — Шестов там имеет характерную профессию: «Зубной врач. Специальность: вырывание корней». Указание на «швейцара» в том же «объявлении» Эрна — с намеком на недавнее швейцарское место жительства Шестова — лишь дополняет и подкрепляет созданный Эрном пародийный образ.

Сочинение Эрна — продукт эзотеричной кружковости, плод домашних, овечьих «местным» колоритом шуток. Ситуация интеллигентских вечеров подчеркивается шарадой, приведенной в конце сочинения. Ее разгадка — Котляревский⁷⁵ — вновь обыгрывает идею журнальной заставки Крутиковой — антиномию Кота и Собаки, основного мифа журнала.

Оппозиция Иванов — Бердяев оказалась в центре статьи М. О. Гершензона «Теория словесности», опыте шутильной, но вместе с тем удивительно тонкой философии языка⁷⁶.

Эпиграф из «Письма о пользе стекла» М. В. Ломоносова задавал тон всей статье, отсылая к традиции филологических «забав», шутильных азбук, персонифицирующих буквенные значе-

ния, вроде ломоносовской сценки «Суд российских письмен, перед Разумом и Обычаем, от Грамматики представленных». Восходящая к античным образцам и имевшая массу европейских подражаний, традиция шутливых грамматик была, без сомнения, учтена Гершензоном. Само же имя Ломоносова должно было придать новой, кружковой «теории словесности» иронический оттенок высокой учености, повысить статус разговора о «словах» до статуса разговора о «естествах».

Следуя пародийно-игровой установке журнала «Бульвар и Переулоч», Гершензон насыщает текст домашней семантикой, легко узнаваемыми в кругу друзей намеками. «Рискуя навлечь на себя церковное осуждение С. Н-ча», то есть С. Н. Булгакова, он рассматривает «стекло» — реальность слова и фразы, их имманентное бытие — как ничуть не меньшую ценность, нежели «минералы» — их трансцендентный смысл⁷⁷. Гершензон берет себе в союзники «Л. Н.» — Л. Н. Шестова, проведя тонкую параллель между ним и последователями древнегреческого мыслителя Евгемера, связывавшего возникновение культа богов с обожествлением реальных древнейших царей. Эта короткая отсылка к «эвгемеристам» вскрывала, по всей видимости, целый пласт дискуссий в кругу московских мыслителей. Именно Шестов в своих «дерзновениях» пытался заглянуть «за» сказанное в Священном Писании, увидеть «там» «величайшую тайну», не «придуманную» евреями, а «доставшуюся» им каким-то иным способом, не доступным современным теориям познания⁷⁸.

Вся преамбула к дальнейшему развертыванию сюжета носила, конечно, чрезвычайно эзотерический характер: сжатые в несколько намеков отсылки к имевшим место спорам внутри кружка будут впоследствии изъяты Гершензоном из второй редакции статьи послереволюционного времени: в новой ситуации они уже не могли быть вполне понятны⁷⁹.

В качестве формулы описания стиля Гершензон берет фразу, рассматривая ее как семью со своим укладом, особой логикой внутренних связей и отношений. В идее семьи и связанной с ней идее жизнестроительства писатель видел спасительное начало, противостоящее как хаосу внешних событий, так и раздрающему личность хаосу внутреннего «дионисийства». Этот акцент на идее семьи был адекватен общей установке «Бульвара и Переулочка» — журнала «для семейного чтения», объединившего под предполагаемой обложкой семейные пары.

Образцовая грамматика не обходится без латинского примера. Гершензон тоже приводит латинское изречение, чтобы проиллюстрировать соответствие между стилем и нравами: лапи-

дарность и простота этой фразы, где нет «ни одной глагольной особы», свидетельствует о тогдашней «чистоте нравов»!⁸⁰

В этом контексте и разворачивается сопоставление стиля писаний Иванова и Бердяева. За описанием «холостяцкой» фразы Бердяева встает личность самого автора. Говоря о «сухости», «бедности внутренней задушевностью», Гершензон имеет в виду не только стиль автора, но и саму личность. Любопытно, что характеристика Гершензона совпадает с автометаописанием, данным Бердяевым в «Самопознании»: «Многие замечали эту мою душевную сухость. <...> В эмоциональной жизни души была дисгармония, часто слабость... Самая сухость души была болезнью»⁸¹. Отсюда — попытка выйти из собственных душевных невзгод: «оттого одно и то же речение пытается чрез две строки завести себе новую фразу, и также не с большим успехом, и чрез пять строк оно же, уже с некоторым остервенением, в третий раз повторяет ту же попытку, и так без конца».

Описание фразы-семьи Иванова тоже глубоко иронично. Фраза Иванова — это античный симпозион, где гости и хозяева «вкушают поэзию и мудрость». Апелляция к античному началу предвосхищает три опыта характеристики мира Иванова в статьях трех его ближайших друзей, участников «бульварно-перелучного» сообщества — С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Шестова. Так, С. Булгаков увидел в Иванове прежде всего «живого вестника из античного мира», указав на заслугу Иванова в «раскрытии христианского смысла эллинской религии»⁸². О тяготении к эллинской культуре, преломленной культурой «упадничества», писал и Л. Шестов, не без иронии почти повторяя слова Гершензона о культе «избранных слов» у Иванова⁸³. Н. Бердяев, явно отталкиваясь от мнений всех троих — Гершензона, Булгакова, Шестова, — будет уточнять: Иванов — «человек эллинистической», а не эллинской эпохи (то есть «вторичного», а не «первичного бытия»)⁸⁴.

Гершензон дает описание поэтического языка Иванова, и здесь важнейшим является взятое в своей неповторимой обособленности Слово. Если фраза Бердяева — функция мысли, то фраза Иванова — свободное единение самодостаточных Слов. Если в характеристике стиля Бердяева Гершензон сосредоточился на описании взаимоотношений между членами фразы, то на «пиру» у Иванова он занят их восторженным разглядыванием: «именитый символ», «благородная метафора», «ветхие мнихи». Каждое Слово здесь — гость на пиру, прибывший из дальних стран; оно овеяно ароматом далеких и разных куль-

тур. В то же время каждое слово не случайно, оно отобрано в соответствии с «тайным замыслом».

Однако в картину античного симпозиона Гершензон вносит иронические штрихи, смещая характеристику в сторону пародии: гости на пиру у Иванова способны поддержать разговор «о Логосе и о матерях важных». Примечательна здесь введенная в текст перефразировка цитаты из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» — реплики Репетилова, описывающей собрания «секретнейшего союза» в Английском клубе:

Напрасно страх тебя берет,
Вслух, громко говорим, никто не разберет.
Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,
О Бейроне, ну о матерях важных.

Эта ироническая отсылка, конечно, не случайна. В изысканном и высокоумном симпозионе проступают черты некоей «говорильни», в которой Слово превращается в самоцель, в предмет любовного смакования. Такое «пиршественное» отношение к культуре, при всем его обаянии, не могло уже устроить Гершензона, ощущавшего в словесных яствах привкус яда⁸⁵.

Знаменательна в этой связи еще одна цитата в финале гершензоновской статьи: «...каждое существительное — не существительное, а Глагол, именно “глагол времен, металла звон”...» Формула взята из знаменитой оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского». Гершензон явно рассчитывал на то, что эта цитата позволит соотнести описание пира у Иванова с содержанием державинской оды, посвященной торжеству смерти:

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает.

Тема смерти достигает семантической остроты в картине прерванного пира:

Где стол был яств, там гроб стоит;
Где пиршеств раздавались крики,
Надгробные там воют клики,
И бледна смерть на всех глядит.

Так сквозь пиршественное веселье, явленное в ивановском симпозионе, Гершензон прозревает грядущую катастрофу, конец культуры. Эта маленькая статья в журнале «Бульвар и Переулок» окажется прологом к тому известному спору о культуре, который выльется в скором времени в «Переписку из двух углов».

Сочинение Бердяева «Бульвар и Переулок (Размышление о природе слов)» — опыт изощренной пародийной стилизации. Взяв эпиграфом знаменитый афоризм Козьмы Прутков «Смотри в корень!» и повторив его в тексте статьи («Сию нить, любезный читатель мой, даю я тебе...»), он недвусмысленно указал на значимость выбранного образца. Назидательно-фамильярный рассказчик, от лица которого ведется все повествование, также заставлял вспомнить именно традицию прутковской игры, чрезвычайно высоко оцененной и явно любимой другим русским философом — Вл. Соловьевым, отдавшим дань симпатии литературной личности Козьмы Пруткова⁸⁶.

Однако афоризм был не только знаком литературной традиции, на которую опирается автор: Бердяева действительно интересуют исторические корни философии «Бульвара». Здесь он вырисовывает некий собирательный образ русского мыслителя рубежа XVIII—XIX веков, достаточно ветреного, переходящего от одного увлечения к другому — с «духом легкомысленным и раболепным», как он сам выражается. Отсюда — нарочитая стилизация языка, первого метафизического языка, зарождавшегося у истоков «русской идеи»: «уединенные доли», «воображение, сий услужливый раб», «вретища всемирного Вавилона» и т. д. Отсюда и соответствующая фамилия, выбранная Бердяевым в качестве литературного псевдонима, — Любомудров — также ориентированная на истоки русского «любомудрия».

Любопытно, однако, что, рисуя картину умственных исканий на заре XIX столетия, Бердяев придает ей те черты, которые вызвали его постоянные критические оценки. Несамостоятельность русской мысли, ее «покорность» западным влияниям, ее переменчивость — все те же упреки звучат в его работах, посвященных «русской идее»⁸⁷.

В духовной биографии героя Бердяева возникает новый этап — меняется стилевой регистр повествования, подчеркнутый цитатой; Бердяев пишет: «Вспомни, как вчера почитал каждую строку Вольтера за новую скрижаль завета, а завтра целовал туфлю его Святейшества папы». Иронически перефразированная строчка из стихотворения Н. М. Языкова «К Чаадаеву» (1844) («Ты лобызаешь туфлю пап») отсылает читателя к эпохе полемики западников и славянофилов.

Отсылка к последним служит переходом к событиям недавнего времени, и здесь появляется фигура нынешнего «бульварочника» — «эрноподобного». Бердяев не скупится на перечень грехов, свойственных современным «обитателям бульваров».

Однако нынешним далеко до «широты» прежних. Современный «обитатель бульваров» увлечен лишь «идеей отечества» и с пафосом отстаивает «голубиную чистоту и преданность отечеству русской полиции и интендантов». В своем «исступлении» он «обрушивается» на «сограждан», «осмелившихся возражать против столь опасных и бурных проявлений патриотических чувств...». Использует Бердяев и известный упрек славянофилам в «нерусском» происхождении их патриотизма, искусно и ядовито намекая здесь к тому же на скандинавское происхождение Эрна.

Однако и философия «Переулка» не выглядит у Бердяева более привлекательной. Переулок, противостоящий Бульвару, — символ дерзкого индивидуализма. Здесь собрались ниспровергатели в лице определенно очерченных Шестова, Гершензона и самого Бердяева. В Переулке «можно провозгласить «нет» всем «да»: Бердяев имеет в виду Л. Шестова, борца с «самоочевидностями», создателя «отрицательной философии». Показательно, что позднее Гершензон применит к Шестову ставшую расхожей в кружке формулу: «Твои статьи говорят только “нет” людской мысли; ты должен пояснить, что в них напрасно стали бы искать изложение твоего положительного мировоззрения, оно не ищет положительной формулы...»⁸⁸

В Переулке, как повествует далее Бердяев, можно «обозвать Прекрасную Даму — бабой». Это — автометаописание, отсылающее к собственной статье «О вечно-бабьем в русской душе». Там Бердяев не без сарказма замечал: «В самых недрах русского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечно-бабье»⁸⁹.

Вспоминая это время, Бердяев писал в «Самопознании»: «...У меня не было того, что называют культом вечной женственности и о чем любили говорить в начале XX века, ссылаясь на культ Прекрасной Дамы, на Данте, на Гёте. <...> Но мне чуждо было внесение женственного и эротического начала в религиозную жизнь, в отношение к Богу. Мне ближе была идея андрогина Я. Бёме, как преодолевающая пол. Одно время у меня была сильная реакция против культа женственного начала»⁹⁰. Вероятно, и суждение о «распылителе космоса» также относится к самому Бердяеву, как и сентенция о потрясении «основ человеческого благополучия». Первое — о «космосе» — связано с отрицанием Бердяевым идей «космизма». В своей книге «Смысл творчества» он писал во «Введении»: «“Мир сей” не есть космос, он есть некосмическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической

иерархии»⁹¹. Идеи свободы и бунтарства (см. главу II «Самопознания», где есть специальный раздел «Бунтарство») Бердяев всегда понимал как важнейшие для его жизни и философии.

Наконец, в Переулке можно «провозгласить, что во всем мире есть, был и пребудет один лишь писатель — Пушкин». Речь идет здесь о М. Гершензоне, в эти годы вырабатывающем свою концепцию «мудрости Пушкина»⁹². За свое пушкиньяство Гершензон уже тогда получил прозвище «Пушкинзон»⁹³.

В финале статьи оба «проспекта жизни» — Бульвар и Переулок — Бердяевым решительно отвергаются. Истинным же признается бегство «на лоно природы» в согласии с «естеством». Последний призыв к друзьям последовать его совету заставляет предположить еще один вероятный источник для столь изысканной стилизации, какую предпринял Бердяев в своей статье. В 1914 году факсимильным способом была переиздана книга В. Г. Вакенродера, переведенная еще в 1826 году С. - П. Шевыревым, В. П. Титовым и Н. А. Мельгуновым под названием «Размышления отшельника, любителя изящного». Идея мудрого отказа от жизни в кругу философов — «разумников», как называет их автор, стремящихся пересоздать мир по «умственным законам», создание некоего «завета жизни мудреца», переданное в форме разговора с друзьями, — все это романтическое житнетворчество сказалось и в сочинении Бердяева. Утонченное изящество старинного языка философской прозы, колоритность «старомодного» стиля, возможно, оказались притягательны и для Бердяева, безусловно знакомого с этой книгой.

Некоторые материалы журнала строились на пародийном обыгрывании тем и жанров прессы военного времени: это была игровая сублимация газетных впечатлений 1915 года.

Особенно показателен «рассказ из военного времени» В. К. Шварсалон, жены Вяч. Иванова⁹⁴. Рассказ озаглавлен «Самсон и Далила в генеральском мундире», а посвящен не названному, но легко узнаваемому Бердяеву. Смысл названия рассказа становится понятным лишь при сопоставлении с газетной продукцией того времени: так, в «Биржевых ведомостях» (для всего московского кружка это была «своя» газета — не проходило недели без печатного выступления там кого-либо из них) за 1 марта 1915 года появилась статья «Самсон и Далила», посвященная умершему графу С. Ю. Витте. Нелепость названия статьи (за подписью Vox), неуместная мифологичность, видимо, и привлекли внимание сочинительницы. Повернув его в нужную

сторону, В. Шварсалон создала образец комического травестирования, где язык газеты оказывался кодом для изображения внутренней жизни кружка.

За анекдотическим случаем, описанным сочинительницей, встают реалии вполне реконструируемой ситуации. «В первых числах марта из дома № 13 одного из небольших переулков по Новинскому бульвару вышел человек на костылях, в пальто защитного цвета...», — начинает свой рассказ В. Шварсалон. Дом № 13 — это дом сестер Герцук, где в эти месяцы проживал сломавший ногу Бердяев. Сам он описан сочинительницей с почти портретной точностью. «Густые черные кудри», сверкание «черных глаз», костыли, а главное — «в пальто защитного цвета, но не совсем определенной формы». Это пресловутое пальто Бердяева запечатлел в своих воспоминаниях и Андрей Белый, рассказавший о частых встречах с «Николаем Александровичем, шествующим по Арбату в своем обычном сером пальто»⁹⁵. В. Шварсалон обыгрывает и заикание Бердяева. В ответ генералу, принявшему Бердяева на костылях за раненого и спросившему о месте ранения, Бердяев произносит: «в пере... в пере...», имея в виду злосчастный Переулок. Генерал же понимает иначе: «в Перемышле!» Именно в эти месяцы шла осада форта Перемышль, и название его не сходило с газетных страниц. В. Шварсалон спародировала и военную цензуру, из-за которой газеты выходили с белыми страницами или с точками, обозначающими цензурное изъятие. В ее рассказе кульминация столкновения генерала с Бердяевым заменена многочисленными точками. Появляющаяся в финале рассказа «жена человека в пальто защитного цвета» — это, конечно же, Л. Ю. Бердяева, жена Н. А. Бердяева.

Газетный жанр послужил моделью и для сочинения Л. Ю. Бердяевой «Врачи и лечебницы», где в качестве врачей человеческих душ фигурировали московские философы (за исключением антропософа Р. Штейнера и петербуржца П. Д. Успенского). Само название адресовало к постоянному рекламному отделу ряда газет. Тонкая диагностика философских методов комическим образом накладывалась на газетное клише. Так, например, открывающий список Эрн характеризуется «методом онтологическим» (в связи с его полемикой против гносеологизма «кантиан»); ироническое упоминание «народной медицины», бань, трав отсылает к его неославянофильским выступлениям. «По всем специальностям» — звучит издевкой над широтой его увлечений — от Платона и В. Джоберти до Розмини и Сквороды.

«Вольнопрактикующий» и не служивший тогда Бердяев обрисован вполне в соответствии с «бульварно-переулочной» спецификой: он «секуляризирует» болезни. Поскольку же в качестве «болезни» в списке выступает погруженность в религиозную проблематику («одержимость» и «беснование» Флоренского означают в контексте всего сказанного высокую степень этой «погруженности»), Бердяев, выступавший за свободу творчества, в том числе и религиозного, против клерикализма, оказывается специалистом по «секуляризации».

«Гипнотизм», «магнетизм» Иванова обыгрывают, вероятно, и его оккультные увлечения, и его редкий дар притягивать к себе людей, неоднократно отмечаемый мемуаристами. Увлечение концепциями ритма, собственные поэтические изыскания (поэзия вообще здесь, видимо, зашифрована терминами «пар», «эфир») объясняют дальнейшую «специализацию» Иванова.

Д. Е. Жуковский, философ-ученый, с «естественнонаучной подкладкой» всех его сочинений, назван «доктором Гейдельбергского университета»: он действительно несколько лет прожил в Германии.

Характеристика Шестова как человека без почвы и без корней — общее место кружкового языка. Не случайно и в другом сочинении Л. Бердяевой «Мысли и недомысли мудрых людей» (гораздо менее удачном!) Шестов определен следующей сентенцией: «Гм! Почва... Зачем им почва? Я и без почвы проживу... Предрассудок...»

Флоренский и его «ассистент» С. Булгаков — специалисты по «одержимости» (см. выше) — метафора религиозности. Однако Булгакова отличают «более хозяйственные» методы — намек на его «Философию хозяйства».

Две сестры Герцык отмечены своими личностными характеристиками — «истонченность» Е. Герцык и «задушевность» А. Герцык-Жуковской. Личные качества А. Белого, его «сумасшедшее» поведение и манера выступать дали повод для иронической характеристики.

Любопытна «специализация» Г. А. Рачинского, «директора гидропатической лечебницы», «председателя общества Спасения на водах». Философ Рачинский являлся председателем московского Религиозно-философского общества, Л. Бердяева в данном определении имеет в виду шутовское наименование общества как места пролития «воды» — словесных диспутов. С другой стороны, здесь обыгрывается и библейское толкование воды как очищающей от скверны и воды крещения — в связи со

связанностью почти всех перечисленных философов с деятельностью Религиозно-философского общества.

Теософ и оккультист П. Д. Успенский назван «гомеопатом», исцеляющим от «мании чудесного». Л. Бердяева целит в его многочисленные мистические сочинения, которые, по ее шутливой характеристике, способны произвести обратное воздействие — отлучить от интереса к тому, о чем они сами написаны.

М. О. Гершензон — специалист по психической хирургии. Свойственный ему «психологизм» (как в творчестве, так и в личном общении) и морализаторство (отсюда — «выпрямление искривлений характера») порой раздражали Н. А. Бердяева. Так, в частности, в письме к Гершензону от 29 сентября 1917 года он писал: «Я считаю совершенно недопустимым суд над моей нравственной личностью и сыск в душе моей, которые ты признаешь для себя возможным публично производить. <...> Ты это делаешь уже не в первый раз...»⁹⁶ Л. Ю. саркастически зафиксировала это личное свойство мыслителя и писателя.

Сочинения Бердяевой, видимо, одни из последних текстов «Бульвара и Переулка»: написаны они, как известно, уже в имени под Харьковом. Псевдоним сочинительницы — Филантропов — также согласуется с псевдонимом Н. Бердяева (Любомудров) в апелляции к традиции значащих фамилий.

Журнал «Бульвар и Переулок» — чрезвычайно выразительный памятник культурного быта 1910-х годов. Введение материалов журнала в научный оборот позволяет восстановить домашний, неофициальный пласт литературно-философского движения эпохи. До последнего времени это движение воспринималось главным образом в своих публичных, обращенных к читателю формах — где «последние вопросы» обсуждались с предельной серьезностью, подчас с полемическим запалом и одноплановой патетичностью.

Между тем в атмосфере домашней литературной игры происходило то, что не было возможным на публичном ристалище. Серьезные вопросы переключались в игровой план, происходило их своеобразное ироническое остранение. Тем самым снималось конфронтационное напряжение и обнажались связующие основы, позволяющие арбатским философам и литераторам, при всех их внутренних расхождениях, ощущать и осознавать себя единой культурной средой, говорить с разных позиций, но на одном языке.

